Э. И. КОЛЧИНСКИЙ

ИЗ ФИЛОСОФИИ В ИСТОРИЮ БИОЛОГИИ

16 сентября 2014 г. исполнилось 70 лет видному отечественному ученому и организатору науки Эдуарду Израилевичу Колчинскому. Глубокие знания, целеустремленность, трудолюбие позволили ему стать признанным специалистом в области истории науки, занять достойное место в международном научном сообществе. Монографии Эдуарда Израилевича, посвященные проблемам эволюции биосферы, эволюции эволюции, развитию и восприятию в мире важнейших аспектов эволюционной теории, определению их историко-теоретического значения, сравнительному анализу развития науки в периоды кризисов в разных странах, его блестящие научные биографии Э. Майра, Дж. Г. Симпсона, К. М. Завадского получили высокую оценку коллег и востребованы широкой читательской аудиторией.

На протяжении многих лет его научная деятельность связана с Санкт-Петербургским филиалом Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, который он возглавляет с 1995 г. Эдуард Израилевич продолжает традиции института, воспринятые им от его учителя К. М. Завадского, вносит весомый вклад в развитие, формирование и поддержание престижа филиала в научном сообществе, им воспитано много учеников.

Эдуард Израилевич – лауреат премии им. Е. В. Тарле в области исторических наук правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра РАН (2013), обладатель почетных грамот Президиума РАН (2003), Президиума СПбНЦ РАН (2003, 2004, 2013), почетного знака «За вклад в историю науки и техники» (2012), медали «К 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского» Неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского (2012). Имеет правительственные награды: медаль «Ветеран труда» (1987), медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), медаль «В честь 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга» (2003), орден «Дружбы» (2006).

Он является главным редактором основанного им журнала «Историко-биологические исследования», входит в редколлегии ряда российских и зарубежных научных изданий, является членом ведущих международных научных обществ: Немецкого общества истории и теории биологии, Общества социальной истории науки, Международного общества им. Г. В. Штеллера, Европейского общества истории науки, Лондонского Линнеевского общества, Международной академии истории науки и др.

Редакция и редколлегия ВИЕТ сердечно поздравляют Эдуарда Израилевича с замечательным юбилеем и желают ему новых творческих успехов, энергии и здоровья.

«Зачем мне эмпирически изучать червяка?»

Эта фраза, произнесенная Я. М. Галлом на практикуме по зоологии, хорошо отражает умонастроение тех, кто после долгих колебаний выбрал своей специализацией философские проблемы биологии. Каждому из нас приходилось преодолевать некоторые внутренние установки, сформированные предшествующим обучением, осознавать принципиальное различие между спекулятивным и позитивным знанием.

Когда я поступал на философский факультет, я интересовался историей, международными отношениями и политикой. Философии истории там не было, политикой «занимались» на отделении научного коммунизма. Для меня это было неприемлемо, и я планировал специализироваться по историческому материализму. Затем заинтересовала социология. Но кончилась хрущевская оттепель, запахло брежневским «развитым социализмом», который все больше походил на неосталинизм. Вновь укреплялась «вертикаль власти», повеяло новыми идеологическими чистками и репрессиями. Прошел суд над Даниэлем и Синявским, начались гонения на А. Т. Твардовского и А. И. Солженицына. По рассказам моих друзей, членов партии, на партсобраниях оживились ортодоксы. Вместо умницы профессора Н. М. Кейзерова секретарем парторганизации стал Д., считавший, что его главная задача на факультете состоит в борьбе с евреями и позитивистами. «Ушли» с факультета И. С. Кон и В. А. Ядов. С молодыми яркими ассистентами Ю. В. Перовым и Г. Ф. Сунягиным мы познакомились позже на семинарских занятиях. К моменту выбора специализации мне стало ясно, что на свободу творчества ни в социологии, ни в философии истории рассчитывать не приходится. А приспособливаться к политико-идеологической конъюнктуре я не хотел, да и понимал, что с моим неумением держать язык за зубами мне вряд ли дадут долго трудиться на этом поприще. Приходилось вновь определяться и не хотелось ошибиться. Выбор был непрост, так как подсознательно учитывалась престижность будущей специальности в студенческой среде.

Заповедником эстетствующих юношей и не способных к точным наукам девиц считалась кафедра этики и эстетики. Там работали образованные и блестящие профессора и доценты, в том числе знаменитый М. С. Каган. На нашем курсе эту кафедру выбрало немало сильных студентов: Таня Акиндинова, Лена Добринская, Ян Рокпелнис, Ира Эйдель (Носова), Илмар Башко и др. Заниматься там было интересно, многие лекции проходили в Эрмитаже и Русском музее, и при всякой возможности я присоединялся к ним и целые дни проводил, бродя по картинным галереям. Также достаточно серьезно я занимался историей кино и литературоведением. Но роль чеховского профессора Серебрякова, ничего не понимающего в искусстве и всю жизнь пишущего о нем, меня не прельщала. Да и вообще эстетика считалась «девичьей специальностью».

Примерно такой же репутацией пользовалась специализация научного атеизма, которую возглавлял очень эрудированный и увлеченный профессор Михаил Иосифович Шахнович. Его яркие лекции правильнее было бы назвать курсом по истории мировых религий и религиоведению. Само же название —

научный атеизм – ассоциировалось с научным коммунизмом, что было для меня также неприемлемо. У нас на курсе это поприще избрал только Миша Бениашвили, знаменитый тем, что сдал все экзамены, не посетив ни одной лекции, не прочитав ни одной книги и не ответив правильно ни на один вопрос.

История философии считалась респектабельной специальностью. На кафедре работали В. Н. Комарова, Е. И. Водзинский, М. А. Киссель, З. М. Мелешенко. Но до современных философов мы еще не дошли. В момент выбора мы находились как раз на философии И. Г. Фихте и Ф. В. Й. Шеллинга. Их «ясные как солнце» сообщения о субъективном или трансцендентальном идеализме воздействовали на мозги студентов как огонек в Вальпургиеву ночь, который влечет в загадочные дали, а наутро просыпаешься с жуткой головной болью, как после похмелья. Схоластические рассуждения о бытии, небытии и инобытии меня не прельщали, хотя на кафедру пошли также сильные студенты и мои друзья Валера Лейбин, Витя Павлов и Володя Томилов.

Заоблачная философия диалектического материализма, законы и категории диалектики, их классификации и категории наводили скуку. Иными выдели модные тогда гносеология и методология науки, за которые раговали В. А. Штофф, профессор Л. О. Резников и его талантливая ученица Мария Семеновна Козлова. Она вела у нас семинары и умела сделать интересными даже занятия по «Материализму и эмпириокритицизму» В. И. Ленина. В общественной жизни факультета она олицетворяла прогрессивное либеральное начало, чем импонировала многим. Мы ее шутливо звали «наша Диамаша». Козлова «совратила» на занятия гносеологией, наверно, самих сильных студентов нашего курса – Валерия Лапицкого и Игоря Шмерлинга. Они написали под ее руководством интересные диссертации. Уговаривала она и меня специализироваться по методологии науки, но мне хотелось оказаться поближе к самой науке.

Хорошую репутацию на факультете имела кафедра логики, туда пошли многие сильные студенты: Толя Еляков, Олег Подлишевский, Юра Роговой, Женья Рубан, Костя Сергеев. Было известно, что там работают прекрасные специалисты по математической логике И. Н. Бродский и О. Ф. Серебрянников. Но мне не хотелось погружаться в дебри математики, а остальные ее отрасли, на мой взгляд, не слишком далеко ушли от диалектического материализма. Позднее мне пришлось много лет вместе с логиками заседать в специализированном совете по защите кандидатских и докторских диссертаций, и я убедился, что с этой кафедры шли всегда хорошие работы, в наибольшей степени соответствующие научным стандартам. Да и общий уровень ее выпускников был в среднем выше, чем на других кафедрах.

На факультете достаточно успешно шла и разработка философских проблем естествознания. Это было удивительно. Хотя в споре физиков и лириков первые явно побеждали, но человек, любивший математику, физику и химию, вряд ли пошел бы на философский факультет. В основном сюда попадали те, у кого в школе с ними были трудности. Тем не менее студенты, выбиравшие философские вопросы естествознания для дальнейшей специализации, более или менее уже знали, что реально представляют собой современные науки. Этому помогало не только неплохое в те годы школьное образование. На пер-

вых двух курсах все будущие философы слушали обширные лекции по общей биологии и эволюционной теории, физиологии высшей нервной деятельности, антропологии, физике, химии, математике, кибернетике, сдавая, порой с большими сложностями, зачеты и экзамены.

В те годы релятивистская и квантовая физика были лидерами естествознания, а ее создатели Н. Бор, Г. Гейзенберг, М. Планк, А. Эйнштейн и другие стремились философски осмыслить воздействие своих открытий на методологию науки и мировоззрение. Профессор философского факультета Владимир Иосифович Свицерский своими трудами по пространству и времени завоевал большой авторитет у физиков, которые в годы гонений в начале 1950-х гг. даже приняли его на работу в Физический институт ЛГУ. Впоследствии он создал свою школу специалистов по философским вопросам физики (В. П. Бранский, В. Г. Иванов, А. М. Мостепаненко). Методологическими проблемами химии и вопросами моделирования успешно занимался Виктор Александрович Штофф. Заинтересовавшиеся математикой могли продолжить образование в данной области на кафедре логики, где читали лекции крупнейший математик А. А. Марков, затем сменивший его Н. А. Шамин и работали их ученики И. Н. Бродский и О. Ф. Серебрянников. До 1966 г. в состав философского факультета входило также отделение психологии, где работали такие выдающиеся ученые, как Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, Л. М. Веккер, Б. Ф. Ломов и В. Н. Мясичев.

К этому времени стала модной биология. Еще в Челябинске из научно-популярных журналов я уже знал, что генетика не «продажная девка империализма», а передовой край современной науки. Молодой профессор Л. Н. Сервин читал блестящие популярные лекции о простейших, в главном здании университета показывали фильмы о мейозе и митозе. Я купил только что изданный перевод К. Вилли «Биология» и с увлечением штудировал все то, чего не было в нашей средней школе. В те времена уверяли, что материальных носителей наследственности нет, что наследование приобретенных признаков – ведущий механизм эволюции, а главный закон жизни – единство организма и среды и т. д.

Ну а потом на факультете была такая легендарная личность, как доктор биологических наук, профессор Кирилл Михайлович Завадский¹. Он руководил специализацией «философские вопросы биологии», которая была приписана к кафедре диалектического материализма В. П. Рожина. Мы знали, что к Завадскому попасть тяжело, писать у него сложно, но зато это интересно и престижно, так как соответствует мировой науке. Куратором этой специализации был А. К. Астафьев. Когда началась «вербовка» студентов по кафедрам, он меня долго уговаривал попробовать. Эту специальность выбрал мой сосед по комнате и партнер по преферансу Я. М. Галл. Ну а поскольку у меня тогда вообще встал вопрос, а не бросить ли мне философский факультет, я решил попробовать.

В начале третьего курса я приехал к Завадскому на дачу, где он читал лекции по истории эволюционных идей. Он меня пленил манерой обращения

¹ Я посвятил ему специальную книгу: *Колчинский Э. И.* Кирилл Михайлович Завадский. СПб., 2013. В ней я подробно рассказал и о его школе.

со студентами, искренней заинтересованностью в тех, с кем говорил, широтой мышления, взглядами, эрудицией. С первых занятий он дал перечень тем для курсовых работ, расписывая каждую так, что это создавало ощущение нахождения на передовом фронте науки и возможности прорыва в ранг бесмертных. Прельщало меня и то, что здесь читали лекции по генетике, экологии, биохимии, физиологии и т. д., так как от абстрактных философских рассуждений меня уже тошнило. На лекциях и лабораторных занятиях, где резали лягушек, считали расщепления признаков у дрозофил и т. д., мы получили знания в объеме первых общеобразовательных курсов биологического факультета. Учителя у нас были превосходные: зоологию читал палеонтолог Л. И. Хозацкий, выделявшийся в те годы своим неизменным военноморским френчем, ботанику – флорист В. М. Шмидт, физиологию – Никитина, экологию – Н. С. Ростова. Но это было только начало. Далее мы должны были добирать многое самостоятельно. Приходилось штудировать буквально сотни книг.

Особые сложности вызывала эволюционная теория, ведь, как писал Ф. Г. Добржанский К. М. Завадскому в 1974 г., трудно найти хотя бы двух эволюционистов, которые на одну и ту же проблему смотрели бы одинаково. У нас же в стране просто была катастрофа. В течение почти 20 лет под видом дарвинизма пропагандировались идеи Т. Д. Лысенко и его подручных. Мы, получившие основы биологических знаний по школьным учебникам, были весьма чувствительны к рассуждениям о законе единства организма и среды, о переделке наследственности, наследовании приобретенных признаков. Какофония мнений, идей, концепций приводила в отчаяние. Непонятно было, с чего начинать. Мне повезло: в руки сразу попала книга Дж. Г. Симпсона «Темпы и формы эволюции», вышедшая накануне сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 г. Я ее долго штудировал. Она и «Факторы эволюции» И. И. Шмальгаузена составили фундамент моих первоначальных представлений об эволюции. Шмальгаузен я знал практически наизусть, указывая по памяти даже некоторые страницы. На этом фундаменте укладывались последующие идеи, концепции, заставлявшие перестраивать и уточнять представления. Но без этого фундамента я вряд ли выплыл бы в море литературы по дискуссионным проблемам эволюции. Большую роль в моем эволюционно-биологическом образовании сыграла коллективная монография под редакцией В. И. и Ю. И. Полянских, появившаяся в печати в конце моего третьего курса, а также первые после долгого перерыва переводные книги Ф. Шеппарда «Естественный отбор» и П. Эрлиха и Р. Холма «Процесс эволюции».

Благодаря им я твердо усвоил, что отбор – это не некая мистическая сила, оставляющая лучших и элиминирующая неприспособленных, а процесс и результат сложного и противоречивого взаимодействия массы факторов. Воспитанному на знаменитом лозунге «Наука – враг случайности» трудно давалось усвоение статистического механизма детерминации, при котором мельчайшее преимущество лишь в среднем могло обеспечить выживание и размножение. Как предыдущему поколению по капле приходилось выжимать из себя раба, так и нашему поколению довелось изживать лысенкоизм, возрождающийся все вновь и вновь в различных обличиях под видом критики устаревшего дарвинизма.

Сразу выяснилось, как непросто на этой специализации. Пришло нас девять человек, но уже к первой сессии осталось только пять, а вскоре четыре. Ушел даже наш староста Толя Колесников, закончивший до университета зоотехнический техникум и с первого курса уверявший всех, что философия парнокопытных – это его призвание. Позднее он обрел себя в критике философии Б. Рассела и стал известным специалистом по современной западной философии. Сомнения в правильности выбора мучили и меня. За первые два года обучения на философском факультете мы овладели какими-то знаниями, терминами, языком и стилем мышления, которые резко отличались от биологического дискурса. В биологии каждый объект индивидуален, а знание очень конкретно и чаще всего имеет эмпирическую, а не теоретическую форму. Приученные витать в заоблачных высотах, оперируя абстрактными категориями, мы не сразу могли понять, зачем нам изучать червяка, ведь он такой маленький и к тому же можно его представить абстрактно. А для настоящего биолога не то что червяк, а вирус очень большой, а жизнь коротка.

В итоге только Боря Фетисенко, Яша Галл, Люда Турунхаева и я прошли свою Голгофу, чтобы по окончании университета перестать быть философами, но и не превратиться в биологов. Мы были чем-то вроде морской свинки: и не свинка, и не морская. Правда, существовала возможность стать хотя бы лучшими биологами среди философов или лучшими философами среди биологов. Но и для этого надо было много трудиться, и я неделями штудировал курс зоологии, а учебник А. Мюнцинга по генетике выучил буквально наизусть, перерешав все приведенные там задачи. Несколько лет мне пришлось даже читать генетику на философском факультете и на курсах повышения квалификации преподавателей дарвинизма. Нелегко было привыкнуть и к практическим занятиям.

К тому времени Завадский перенес несколько инфарктов. Будучи профессором ЛГУ, он читал лекции по истории биологии и эволюционной теории, по философским проблемам биологии, руководил курсовыми и дипломными работами, а также аспирантами и докторантами. Первые два года занятия проходили у него на квартире (Большая Разночинная улица на Петроградской стороне). Раз в месяц здесь же проходили семинары по эволюционной теории, на которых собирались все ученики Завадского, это давало возможность сразу почувствовать себя причастным к научной школе. На семинарах защищались и курсовые работы. Мы учились рецензировать работы друг друга, задавать вопросы, критиковать. Завадский как раз заканчивал работу над книгой «Вид и видообразование» и давал нам читать некоторые разделы, и мы их нелестно критиковали.

С осени 1967 г. Завадский перешел работать в Ленинградское отделение Института истории естествознания и техники АН СССР. Здесь он организовал сектор истории и теории эволюционного учения, в который вошли сотрудники и ученики Завадского из ЛГУ. В это время он был руководителем моей курсовой работы на четвертом курсе. Поэтому я иногда приходил сюда, но должен сказать, что у нас отношения с ним сперва не складывались. Я был достаточно независимым и при всем уважении к нему всегда имел свою точку зрения, к тому же не мог привыкнуть к его насмешливой манере разговари-

вать. Но самое главное, у меня были большие трудности с курсовой работой, и я не очень верил в возможность ее успешной защиты в виде диплома.

Еще на третьем курсе Завадский дал на выбор несколько тем курсовых работ. Галл выбрал сперва тему «эволюция эволюции», а я – «типы взаимодействия живых систем». Чем-то слово «типы» мне не нравилось, а Галл не мог решить, как подойти к теме «эволюция эволюции». И мы решили махнуться. Вскоре я понял, что попал из огня в полымя. Кроме одной главы в книге американского генетика А. Шелла, написанной в 1936 г., никто и никогда не использовал сам термин. Кое-какие идеи на этот счет в тезисной форме опубликовал И. И. Шмальгаузен. На третьем курсе я еще как-то написал курсовую по его трудам, а на четвертом уже не знал, что мне писать, хотя прочитал много книг. Завадский ничем помочь не мог, ориентировал на анализ взаимоотношения концепций униформизма и катастрофизма в XIX в. в качестве историко-методологического введения, а что дальше делать, видимо, и сам не знал.

Получив за курсовую четверку, я решил уйти со специальности «философские проблемы биологии» и стать историком философии. Для этого была возможность. Я получил распределение в Институт истории АН ЭССР. Там собирались открыть философский сектор, где предполагались и исследования по истории философии. С кадрами у них было плохо, их готовить они могли только в академической системе и собирались меня направить в целевую аспирантуру, если будет рекомендация от факультета. Предварительную рекомендацию могли дать только по результатам учебы и курсовой. Завадский сказал, что подобную рекомендацию даст только в том случае, если диплом будет написан по специальности «философские проблемы биологии», и предложил более понятную для диплома тему о мировоззрении и эволюционных взглядах К. А. Тимирязева. В конце 1930-х гг. он сам писал о нем кандидатскую диссертацию, но по разным причинам не защитил. В качестве руководителя Завадский предложил своего ученика и сотрудника из ЛО ИИЕТ А. М. Миклина, только что с блеском защитившего диссертацию по критериям прогресса. Понимая, как трудно начать с нуля, чтобы написать отличный диплом (а только в этом случае можно было рассчитывать на рекомендацию в аспирантуру), я согласился. С осени стал читать труды Тимирязева, которые мне все больше и больше не нравились. Просматривая новые книги и статьи, я постоянно прикидывал, что могло бы быть полезно для прежней темы, и продолжал собирать материал по «эволюции эволюции».

Неожиданно для меня в ноябре 1968 г. в журнале «Вопросы философии» была опубликована статья очень популярного тогда эколога и эволюциониста С. С. Шварца, посвященная постановке исследуемой мной проблемы. Из прочитанной статьи я увидел, что нахожусь на правильном пути и что в разработке проблемы «эволюции эволюции» продвинулся дальше Шварца, ставшего вскоре академиком. Осознание этого факта ободрило меня. В итоге, читая днем Тимирязева, я вечерами садился писать диплом по эволюции эволюции. Когда я сдал текст на проверку Миклину, тот был доволен, ничего не исправил, кроме нескольких вводных предложений, и предложил печатать в таком виде для защиты. Он всячески расхвалил мой труд Завадскому. Высоко оценил работу и рецензент Алексей Сергеевич Мамзин, также ученик Завадского, подготовивший к этому времени докторскую диссертацию. При защи-

те диплома комиссия поставила оценку «отлично с отличием», что, видимо, было навеяно названием диссертации, и даже обратилась в деканат с запросом, нельзя ли официально утвердить такую оценку.

Работа заинтересовала Завадского. Не видя диплома, но зная, что у меня есть шанс получить целевую аспирантуру из Академии наук Эстонии, куда я получил распределение, он предложил писать диссертацию в ЛО ИИЕТ АН СССР. Мое желание переключиться на историю философии сразу было поколеблено. Завадский убеждал: «Ну ты что, ну чего ты поедешь в эту Эстонию, как ты там будешь заниматься историей философии, у тебя уже на 50 процентов сделана диссертация, сейчас приедешь, сдашь экзамены, станешь за год кандидатом наук». Завадский говорил правду, что там потребуются годы для подготовки и защиты диссертации, а вот по поводу того, что здесь через год гарантированно будет кандидатская, явно лукавил. Но я ему поверил: кто ж не хочет быстро защититься.

В письме на имя президента Академии наук ЭССР Завадский уверял, что считает целесообразным, чтобы я в краткий срок подготовил диссертацию по философским вопросам биологии, учитывая большой задел для этого в дипломе. А потом академия сможет меня использовать так, как посчитает нужным. В Таллине с доводами Завадского согласились. В конечном итоге, проработав там после окончания университета менее трех месяцев, я вернулся в Ленинград сдавать вступительные экзамены в аспирантуру, и Завадский вновь стал моим руководителем. Тема была предопределена дипломной работой, менять ее не имело смысла, раз она получила оценку «отлично с отличием».

Мои коллеги по специализации и друзья Галл и Фетисенко также остались в рамках школы Завадского для написания диссертации. Галл был принят сотрудником в сектор Завадского, который определил ему тему так: «Борьба за существование как фактор эволюции». Тема была историко-биологическая, и Галлу предстояло защищать диссертацию на соискание степени кандидата биологических наук. Боря Фетисенко попал во вновь созданный в Ленинграде сектор философских проблем Института философии, который возглавил Мамзин. Сектор просуществовал недолго, и он не успел подготовить диссертацию о регрессе, часто увлекаясь другими, как ему казалось, более актуальными темами. Люде Турунхаевой пришлось уехать из Ленинграда в Читу. К науке она вернулась не скоро, только в 1990 г. подготовила диссертацию по экологии, пригласив меня в качестве рецензента на предзащиту.

Несмотря на все трудности выбранной специализации, связанной с резкой переквалификацией, я последние 40 лет никогда не жалел о своем выборе. Повезло мне и с коллегами: в естественной конкуренции при распределении мы не переходили границы приличия и заканчивали университет друзьями.

«Ученым можешь ты не быть, а кандидатом быть обязан»

Это расхожая фраза появилась в начале 1950-х гг., когда профессия научного работника считалась очень престижной. Кандидатов наук в Челябинске можно было по пальцам пересчитать, и к ним относились с большим уважением. Поступая в университет, я даже помыслить не мог, что буду писать какие-то диссертации. Но как-то на лекции по истории буржуазной философии

М. А. Киссель сказал: «Для того чтобы заниматься спокойно творческой работой, человек по крайней мере должен быть доцентом». А Киссель, по общему мнению нашего курса, был умница. Правда, и он ошибался. Вскоре я узнал, что в СССР ни доцентура, ни даже профессура не дают ощущения стабильности и уверенности. Вообще научная иерархия везде подвижна, динамична, и ученые порой с трудом терпят более удачливых конкурентов, добившихся признания и престижных премий. Человек остается везде один и тот же, дух соревнования в научной среде не менее важен, чем в спорте, а единицы измерения достижений не поддаются формализации в очках, секундах, голах, килограммах. Но первой ступенькой для восхождения наверх всегда служит кандидатская диссертация.

Выше я уже говорил, что на философском факультете в период моего обучения были неординарные творческие личности. Защиты докторских диссертаций М. С. Кагана, Н. М. Кейзерова, А. С. Мамзина, В. А. Штоффа и других становились событием. Они проходили в самой большой 150-й аудитории, которая забивалась битком. В аспирантуре оставляли в основном ярких студентов, выделявшихся чем-то из студенческой массы и уже что-то сделавших. Помню, как Штофф расхваливал Борю Федорова, а мы сами с интересом слушали доклад аспиранта отделения научного коммунизма Валеры Крамника о сущности власти. Защиты кандидатских диссертаций также собирали аудитории, не сравнимые с заседаниями специализированных советов в наши дни, особенно в разгар кризиса, когда порой кроме диссертанта и оппонентов (и их отзывы иногда зачитывались) присутствовали три-четыре члена совета во главе с председателем и ученым секретарем. Теперь обязали даже вести видеозапись заседаний, чтобы заставить членов совета присутствовать на защитах.

Торжественно были обставлены защиты и учеников Завадского, каждая из которых становилась событием, привлекая внимание не только философов, но и биологов. Как правило, приходило много отзывов. Всегда можно было сказать, что нового внес соискатель в решение исследуемой проблемы. Например, М. И. Сетров первым дал анализ тектологической концепции А. А. Богданова и положил начало системному анализу советских биологических исследований; А. М. Миклин на историко-биологическом материале разработал проблему критериев прогресса; А. А. Корольков исследовал проблему меры в биологии и медицине; А. П. Мозелов раскрыл философские корни неоламаркизма; Т. Я. Сутт истолковал феномен направленности эволюции с позиции теории естественного отбора; В. С. Вишаренко предложил классификацию типов детерминизма в биологии и др. Нередко эти работы становились базой для докторских диссертаций. Так, кандидатская диссертация Александра Борисовича Георгиевского по преадаптация стала исходным пунктом для написания фундаментального труда по адаптиогенезу. Были, конечно, и случаи, когда докторские диссертации не содержали принципиальной новизны по сравнению с кандидатскими. Не зря на вопрос, почему кандидатские лучше докторских, отвечали, что кандидатские пишут доктора наук (т. е. научные руководители), а докторские – кандидаты.

Вскоре после поступления в аспирантуру я осознал ошибочность оптимистичной оценки Завадского, что подготовка диссертации не потребует много

времени. На самом деле практически всё надо было начинать сначала. Диплом я писал в основном на историко-научном и биологическом материале. А диссертацию предстояло защищать по специальности «философские проблемы биологии», что это такое, точно никто сказать не мог. Зато некоторые члены совета, где мне предстояло защищаться, априорно знали, какая диссертация является философской, а какая нет. Пришлось искать название, которое устраивало бы самых рьяных борцов за чистоту философии. Остановились на теме «Проблема изменчивости законов органической эволюции», но здесь вставал целый ряд проблем, не решенных ни в философии, ни в биологии. Прежде всего предстояло выяснить, что такое закон вообще и закон органической эволюции в частности. Сама постановка вопроса о возможной изменчивости законов вызывала у философов приступ негодования. Их учили, что законы меняться не могут, потому что они законы. Об этом однозначно сказал Сталин, и никто ничего путного ему возразить не мог даже через 20 лет после его смерти.

Не меньше сложностей возникло и с историко-научной частью, поскольку в эволюционной биологии эта проблема в явном виде не ставилась и не обсуждалась. Приходилось привлекать большой массив литературного материала из исторической геологии и палеонтологии, где поднимались и обсуждались сходные вопросы и роль актуализма в историческом познании. И, наконец, в самой эволюционной теории эта проблема не была даже поставлена, не считая кратких высказываний по этому поводу Шмальгаузена и Шварца, а также работ Ю. И. Полянского о частной теории эволюции простейших.

Вообще это беда всех выпускников вузов: когда начинаешь исследование, оказывается, что книжное знание учебников и знание исследователя – вещи совершенно разные. Особенно это верно для философии. Мы, конечно, знали немало, покидая факультет. Но мы знали всё ни о чем и ничего обо всем. К тому же выяснилось, что одно дело, когда студент в дипломной работе рисует какие-то натурфилософские схемы, подкрепленные разрозненными фактами, другое дело диссертация. О трудностях написания первых работ у Завадского я уже говорил раньше не раз. И мне с моей привычкой к легким успехам было тяжело получать от Завадского свои тезисы, все исчерканные замечаниями и исправлениями, с едкими репликами. Ведь я был так уверен, что первый в мире пишу об эволюции эволюции в глобальном масштабе, а тут тебе демонстрируют, что ты и писать-то не умеешь.

Завадский заметил мое отчаяние и провел беседу. Смысл ее состоял в том, что, конечно, в науку идут люди, жаждущие успеха и благодарности всего человечества. Но надо привыкнуть к мысли, что ты далеко не первый и не лучший. Достаточно осознать, что ты сможешь быть среди тех ста тысяч, которые первые, а остальные 250 миллионов останутся позади. И еще он сказал мне, что в науке способности важны, но не они определяют конечный успех. Способности без готовности к повседневному труду, поглощающему все время, ничего не стоят. Не менее важно, какая у аспиранта задница и сколько штанов он готов истереть, готовя диссертацию. К сожалению, своих учеников я не могу убедить в правильности подобных суждений. Они начинают говорить про семью, детей, необходимость зарабатывать деньги. Это все правильно. Но не может быть хорошей диссертация, написанная по принципу: землю

попашешь, попишешь стихи. И пока каждый аспирант во время подготовки диссертации не будет избавлен от забот о хлебе насущном, не стоит ждать прорывных работ. И вся история великих открытий тому свидетельство.

С большим трудом с помощью Завадского я написал первые тезисы «О катастрофизме и униформизме в биологии XIX века». Вторая моя публикация вышла в изданиях Ленинградских секторов Института философии АН СССР. Большую помощь в ее редактировании оказал А. Б. Георгиевский. Но только где-то к концу второго курса аспирантуры перо приобрело какую-то твердость, исчезли трудности с удобоваримым изложением мыслей. Структура диссертации осталась примерно та же самая, что в дипломной работе, а впоследствии в видоизмененном виде она перешла в книгу «Эволюция эволюции». Работать пришлось много, я никогда раньше в жизни столько не работал, почти каждый день с утра до позднего вечера. Ежедневно в библиотеке просматривал 15–20 книг и статей. И сорвался, заработал бессонницу, не спал нормально почти полгода. Никто не мог мне помочь, пока один знакомый матери не дал простой народный рецепт: пить луковый сок с медом.

Сложно было привыкнуть и к реалиям аспирантского общежития АН СССР, которое находилось на бывшей Яковской улице – это между ул. Жака Дюкло и просп. Мориса Тереза, недалеко от гостиницы «Спутник» и лесопарка «Сосновка». Там было два здания, соединенные столовой. Было очень удобно. Академические институты Ленинграда тогда не брали в аспирантуру иногородних, так как потом нельзя было взять их на работу из-за отсутствия прописки. Наверняка М. В. Ломоносов не смог бы учиться в АН СССР. В общежитии жили в основном стажеры и целевые аспиранты с Кавказа и из Средней Азии. Доминировали грузины, азербайджанцы, армяне, узбеки, таджики, было немного молдаван, казахов. Русских было мало, в основном из Карельской автономной республики и с Дальнего Востока, где создавался новый центр АН СССР. Аспиранты тяготели прежде всего к своим землякам, нерусская речь звучала на каждом шагу. Было чувство одиночества по вечерам и выходным. Кругом идет гульба, а ты как отверженный.

Были, конечно, некоторые недоразумения на национальной почве при естественной консолидации по землячествам. Аспиранты из республик, которые впоследствии первые откололись от Союза, уже тогда держались особняком. Но в целом мне удавалось находить общий язык с представителями разных национальных диаспор. Хорошие отношения у меня были с азербайджанцами, так как на первом курсе я жил с одним из них. На втором курсе я жил вдвоем с узбеком Игамом Кадыровым, археологом из Ферганы. Когда мы обсуждали политические проблемы, он вначале говорил, что рано или поздно поднимется восстание по освобождению от господства русских, которых он обещал всех вырезать. И я его в шутку называл «великий вождь национально-освободительного движения Средней Азии». К концу нашего совместного проживания он сказал, что я его перевоспитал, и теперь он всем будет говорить, что по национальности он человек, а узбек – это его кличка, и вообще русские ему более симпатичны, чем узбеки. Его рассказы обо мне, видно, произвели впечатление на его земляков, и ко мне хорошо относились почти все аспиранты-узбеки.

На самом деле, конечно, не столько совместное проживание, сколько работа над диссертацией способствовала воспитанию чувства интернационализма у приезжих. Учителя у них были русские, на работе неизбежно завязывались дружеские связи со сверстниками, чаще всего на всю жизнь. Благодаря русским учителям и друзьям они лучше понимали русскую культуру, особенности нашей национальной ментальности. Сейчас принято ругать все связанное с нашей «особостью». Это естественная реакция на квасной патриотизм, да еще в советском исполнении, когда мы были «впереди планеты всей» и считали себя старшими братьями. На самом деле жизнь в общежитии выгодно высвечивала многие качества русского характера и ленинградского стиля общения – способность бескорыстно прийти на помощь гостю, перешагнуть через национальные предрассудки, дружелюбие, широту взглядов на мир, оппозиционность власти и т. д., и т. п. Поэтому я думаю, что все, что происходило в общежитии, играло важную роль в воспитании интернационального сознания. Несмотря на то что аспиранты были прикомандированы, защищались они обычно у нас, спрос с них был настоящий, они писали диссертации высокого качества. Поэтому для многих из них здесь прошло не три, а пять-семь, а порой и десять лет. Особых поблажек национальным кадрам тогда не делали.

Позднее в общежитии я познакомился с Александром Ивановичем Кафановым, очень задиристым и активным выпускником Ростовского университета, приехавшим поступать в аспирантуру Зоологического института АН СССР. К тому времени у него уже было более 10 публикаций, он был восходящей звездой зоологии и вдруг неожиданно срезался на экзамене по истории КПСС. К счастью, директор Института биологии моря АН СССР академик А. В. Жирмунский пригласил его к себе на работу во Владивосток. Там Кафанов сдал кандидатские экзамены и приехал в целевую аспирантуру. Он был типичным трудоголиком, для кандидатской диссертации выписывал целые коллекции из разных стран. По окончании аспирантуры он уехал во Владивосток, его карьера была стремительной, но ранний инсульт ограничил подвижность. Но Саша оказался мужественным человеком, защитил докторскую диссертацию, создал свою школу, стал крупнейшим в мире знатоком моллюсков, гидробиологом, биогеографом и экологом, автором восьми фундаментальных монографий. Его предстоящий юбилей – 60-лет со дня рождения – был отмечен в календаре знаменательных дат Приморья. Но нам не удалось его отпраздновать.

Благодаря долгому общению с Кафановым я понял, как тяжело добываются сведения для каждой строки в биологической диссертации. Поучительно было наблюдать и за работой будущего крупного ихтиолога Аркадия Владимировича Балушкина, с которым я познакомился благодаря Кафанову и который стал моим ближайшим другом на долгие десятилетия. Со стороны мы, вероятно, представляли собой странную троицу без конца подкалывающих и разыгрывающих друг друга людей. Но нам всегда было интересно вместе. Они оба стали как бы мостом, связывавшим меня с Зоологическим институтом, в котором я с аспирантских лет чувствовал себя уютно и где у меня со временем появилось много друзей и коллег в разных отделах и лабораториях.

Более полутора лет аспирантуры я потратил на первую главу диссертации, где обсуждалась, как мне сейчас понятно, схоластическая проблема изменчивости законов. В отечественной философии господствовало сталинское утверждение, что законы не меняются, а только сходят со сцены. Чтобы убедить философскую публику в обратном, пришлось прочитать много книг по диалектике, многие из которых показались мне схоластическими. В итоге я написал главу, которую Завадский одобрил. Впоследствии она произвела сильное впечатление на философов своей диалектообразностью в трактовке соотношений неизменяемости и изменчивости, формы и содержания, соотношения закона и фактора и т. д.

Конечно, высказывания классиков марксизма, имеющих прямое отношение к обсуждаемой теме, я использовал в тексте, полемизируя с некоторыми из них. Что касается партийных документов, постановлений съездов, то я на них не ссылался, хотя это было принято делать даже в диссертациях по естественным и техническим наукам. Профессор В. П. Рожин, заведующий кафедрой диалектического материализма для философского факультета, где проходила моя предзащита, указал на этот существенный недостаток работы. Я ответил, что, мол, руководствовался духом партийных решений по творческой разработке философии марксизма, поэтому формальные ссылки считал неуместными. Рожин был умным и порядочным человеком, он не стал настаивать на исправлении, а официальные оппоненты также закрыли глаза на подобный отход от шаблона.

Дальше все пошло проще. За полгода до конца аспирантуры я сдал Завадскому на проверку всю диссертацию и отбыл на летние заработки в Западную Сибирь, калымить в вольных бригадах. Вскоре вышло из печати несколько моих статей, в том числе подготовленных совместно с Завадским. О диссертации стали говорить одобрительно во время конференции «Организация и эволюция живого», проходившей в Доме ученых в декабре 1972 г. Тема «эволюции эволюции» стала одной из наиболее обсуждаемой. К этому времени А. Б. Георгиевский, не имея жилья в Ленинграде, уехал в Новгород, освободилась ставка, и я не стал возвращаться в Таллин, так как Завадский предложил мне остаться в ЛО ИИЕТ. А. В. Кольцов, исполнявший в то время обязанности заведующего ЛО ИИЕТ, с этим согласился. О своем решении он объявил на дирекции, где проходил годовой отчет сектора. Судя по реакции секретаря парторганизации, всегда относившейся ко мне предвзято, с ней этот вопрос, как положено, не согласовали. Тем не менее, работая около 20 лет в секторе Кольцова, она предпочла информацию воспринять как должное, хотя впоследствии не раз указывала Завадскому на «неадекватность» моего поведения и на политическую незрелость.

Моими оппонентами на защите кандидатской диссертации были доктор философских наук, профессор Федор Федорович Вяккерев и кандидат философских наук Александр Аркадьевич Корольков. Оба они хорошо оценили диссертацию, но я с ними спорил, не соглашался с их критическими замечаниями. Защита проходила в университете. Было более 20 отзывов на автореферат, преимущественно биологов и геологов. На совет большое впечатление произвел отзыв академика Шварца, тогда очень популярного благодаря своим работам по экологии и эволюции биосферы. На защите было много лю-

дей, аудитория не вмещала всех желающих. Я прошел единогласно, был лишь один испорченный бюллетень. Как мне сказали, его бросил слепой профессор, которого в зале не было, всю защиту он проходил по коридору, но свою «объективную» оценку сделал. Еще больше я расстроился, когда узнал, что при утверждении на Большом ученом совете, который обычно только штампует решение кандидатского совета, около 20% состава проголосовало против. Как я понимаю, это все были те, кто не видел, не читал, не слышал, но знал мое отчество, и для них это было главным критерием оценки в науке. К тому времени главный борец с позитивистами и евреями на факультете был уволен за пьянство и слабость по части студенток, но дело его явно продолжало жить.

Я был не прочь продолжать заниматься этой темой и дальше: уточнять, развивать, углублять, дополнять. Но у Завадского были другие планы. Он мне сказал, что далее должна быть тема сугубо историко-биологическая. Я хотел заняться эволюцией поведения, но у Завадского один из аспирантов, В. И. Стрельченко, уже работал по близкой тематике, и он поручил мне заняться эволюцией биогеоценозов. Я уже начал собирать материал, но затем Завадский посчитал, что мы вместе с ним должны подготовить монографию по теме моей диссертации, максимально удалив из нее философию. Такую книгу мы с ним написали. Она вышла за несколько месяцев до кончины Завадского.

Следует напомнить: Завадский рассматривал историю как способ решения современных теоретических проблем эволюции. Именно так он нас воспитал, так готовилась и книга «Эволюция эволюции», которая, как мы с Завадским тогда верили, наметит стратегию развития эволюционной теории. Книга стала широко известной, даже модной. Ее цитировали и продолжают цитировать биологи, геологи и философы, психологи и даже физики, математики, экономисты, лингвисты. Она была включена в учебные программы по эволюционной теории, ее изложение можно было встретить в ряде учебников.

Недавно я прочитал в одном американском журнале статью «Эволюция эволюции», авторы которой уверяют, что они впервые стали говорить об этом. Они даже не знают, что их соотечественник, крупный генетик Шелл еще в 1936 г. написал целую главу об эволюции генетического аппарата и назвал ее «Эволюция эволюция».

Вступление в сообщество

Ленинградское отделение Института истории естествознания и техники АН СССР, куда я был прикомандирован как аспирант Института истории АН ЭССР, было создано в сентябре 1953 г. Основные черты ЛО ИИЕТ как научного сообщества формировались во время хрущевской оттепели и популярности шестидесятников. Именно в эти годы шла кристаллизация основных научных исследований и выработка структуры. В момент моего поступления в аспирантуру ЛО ИИЕТ работал блестящий ансамбль историков науки, о которых я рассказывал в ряде своих публикаций, в том числе и опубликованных в ИИЕТ в 2003, 2010 и 2013 гг. В них же дана и характеристика быта и

этого школы Завадского, возглавлявшего сектор истории и теории эволюционного учения, в котором непосредственно и шла подготовка кандидатской диссертации и первых крупных научных работ. Под руководством Завадского были организованы несколько крупных симпозиумов «Закономерности прогрессивной эволюции» (1969), «Организация и эволюция живого» (1972), «Первые шаги эволюционной биологии в СССР» (1973), «Проблемы эволюционной физиологии растений» (1974). На них выступали практически все ведущие биологи-эволюционисты и историки биологии СССР. Перечень фамилий немного скажет современному читателю, но прошу поверить, что это были достойные люди. Некоторые из них были репрессированы, другие в течение многих лет оставались безработными из-за верности генетике и дарвинизму. Всех их объединяла одна черта: наука составляла для них смысл жизни. Многие бегло брошенные ими замечания или беседа на ту или иную тему значили иногда больше, чем кипы прочитанных книг.

Помимо школы Завадского мы принадлежали к определенному научному сообществу, из которого усваивали нормы, ценности, ритуалы и стиль научной практики, черпали идеи и стимулы творчества. В этом разделе я приведу воспоминания о тех людях, встречи с которыми мне запомнились именно в период, когда я только входил в сообщество биологов-эволюционистов.

Имя эколога и зоолога академика Станислава Семеновича Шварца, основателя Института экологии на Урале, сейчас мало кому известно, а в конце 1960-х – начале 1970-х гг. его статьи печатались в престижных общенаучных, философских и биологических журналах, а книги после выхода сразу становились библиографической редкостью. Он одним из первых в нашей стране поднял вопрос об экологическом кризисе и необходимости изучать эволюцию надвидовых уровней организации живого, прежде всего биосферы. Выше я уже говорил, что статья Шварца помогла мне понять, что я нахожусь на правильном пути при написании диплома, а впоследствии его труды сыграли важную роль в выработке моей концепции эволюции биосферы. Встретил я его только один раз, в ноябре 1975 г. в Свердловске. Он был тяжело болен и вел себя немного отстраненно, осознавая, видимо, неизбежность близкого ухода. Полноценного разговора не получилось, а вот доклад он сделал яркий, эмоциональный и хорошо продуманный, наэлектризовав своим выступлением значительную часть аудитории. От него как бы исходила завораживающая энергия, позволяющая почувствовать себя причастным к важному делу. Шварц был первым из крупных биологов, кто обратил внимание на мои аспирантские публикации и по собственной инициативе прислал краткий отзыв на автореферат кандидатской диссертации, повергнув в изумление членов ученого совета, не избалованных вниманием ученых такого ранга к философским трудам. Весьма лестный отзыв он дал в 1972 г. и на мою обобщающую статью по истории проблемы «эволюции эволюции» для сборника «Историко-биологические исследования», которая из-за осторожности некоторых членов редколлегии вышла только через семь лет, когда уже была опубликована и завоевала популярность наша с Завадским книга «Эволюция эволюции».

Цитофизиолог В. Я. Александров стал широко известным в годы перестройки как автор бестселлера тех времен «Трудные годы советской биоло-

гии», в которой рассказано о борьбе биологов со сторонниками О. Б. Лепешинской и Т. Д. Лысенко. Лауреат Сталинской премии, участник войны, он долгое время был безработным, но от своих научных воззрений не отказался. В 1955 г. он вместе с Ю. М. Оленовым и Д. В. Лебедевым подготовил обращение в ЦК КПСС, известное как «Письмо трехсот», явившееся обвинительным актом лысенкоизму. За большой вклад в защиту генетики Александров в 1990 г. был награжден Орденом Ленина. Был он крупным теоретиком биологии, организатором межинститутского семинара по клеточной и молекулярной биологии, проводимого в Ботаническом институте и собиравшего сотни участников.

Выступал Александров всегда интересно, остро и парадоксально. Привлекала его спокойная и ироничная манера критики, упрощающая проблему до предела и заставляющая задуматься над хрестоматийным вопросом: «А был ли мальчик?» Так, в 1973 г. в Москве редколлегия «Журнала общей биологии» и журнала «Вопросы философии» проводили дискуссию на модную тогда тему о путях построения теоретической биологии. Интересно, эмоционально и ярко выступали Б. Л. Астауров, М. С. Гиляров, А. А. Малиновский, И. Т. Фролов и др. Но консенсус не вырисовывался, у каждого путь был свой, а ведь теоретическая биология должна быть одна, если это теория. Вдруг встал Александров и сказал: «Я не знаю, может ли быть какая-то особая теоретическая биология? Ведь теоретической физики нет, есть физики-экспериментаторы и физики-теоретики, и в каждой области биологии есть разные уровни познания: теоретический и эмпирический». Его выступление прозвучало диссонансом, но задор у спорщиков угас, а сидевший рядом со мной сотрудник редакции журнала «Вопросы философии», которому было поручено организовать этот круглый стол, тихо возмутился, что не ожидал такого от Александрова, вроде широко мыслящий и умный человек, а отрицает возможность теоретической биологии. С ним были согласны и другие философы. Мне же высказывания Александрова до сих пор кажутся наиболее здоровыми из всего того, что я когда-либо читал или слышал о теоретической биологии, особенно после десятилетий бесплодных попыток ее создания. С тех пор любые умствования на этот счет кажутся мне пустой тратой времени, хотя к ним нередко склонны самые изощренные интеллектуалы среди биологов.

Среди таких теоретизирующих биологов, кем я восхищался и которых лично знал, следовало бы назвать Л. И. Корочкина, Э. Майра, А. А. Малиновского, Н. В. Тимофеева-Ресовского и особенно Б. Н. Медникова и А. М. Уголева. С последними двумя я не раз обсуждал эти проблемы, но и они меня не поколебали в правильности позиции Александрова. Что же касается Завадского, то он полагал, что не требуется никакой специальной теоретической биологии, поскольку есть эволюционная теория.

Во время другой дискуссии о теории естественного отбора после доклада Корочкина Александров резонно заметил одному «ультраселекционисту»: если это теория, то она, согласно принципу фальсификации, должна иметь исключения. Правда, на этом же семинаре я сам резко выступил против легковесной критики Корочкиным теории естественного отбора, что, как ни странно, способствовало установлению с ним добрых отношений. В 1992 г. мне довелось председательствовать на семинаре, где делал доклад Жорес Медве-

дев, которого Александров хорошо знал и даже помогал ему в годы гонений. У них возник спор о борьбе с Лысенко, которую Медведев старался, как и раньше в своих книгах, представить в виде борьбы «героев и злодеев» российской науки. Он бросил фразу, что в отличие от остальных своих соратников, которые были все поголовно подлецами или невеждами, с Лысенко, мол, все сложнее, он был сумасшедший, так как искренне верил, что он гений и что прав. Реплика Александрова была убийственна: «Но ведь так все думают. Что ж здесь сумасшедшего?» Мне пришлось несколько раз брать интервью у Владимира Яковлевича, и всегда беседы были интересны, позволяли из сообразных деталей лучше представить события прошлого. К сожалению, это интервью я тогда не напечатал.

Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского я впервые увидел в Москве в феврале 1971 г. на большом совещании по философским вопросам эволюционной теории, где ожидалась попытка реванша со стороны лысенкоистов, включая члена-корреспондента АН СССР крупного ихтиолога Г. В. Никольского. Но в целом игра шла в одни ворота: лысенкоисты были в меньшинстве, и бороться по сути дела было не с кем. Все оживились, когда около трибуны встал невысокий, коренастый и почему-то казавшийся очень мощным пожилой мужчина, очень словоохотливый, с богатой мимикой и жестикуляцией. Для него регламент явно не существовал. Во всяком случае председательствующий И. Т. Фролов его не прерывал, хотя он говорил около часа. Мне нравилось не то, что он говорил, а то, как он говорил: «Мы – создатели синтетической теории эволюции, я говорю “мы” не потому, что так принято в нашей стране, а потому, что я действительно участвовал в создании этой теории. Лично я не люблю слово СТЭ. Это мне напоминает всякого рода сокращения типа ВэЦэСэПэСэ» (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов), именно так он произнес это слово, многократно делая упор на звуке «э». Фролов, от которого ЦК КПСС требовал не допускать провокаций со стороны Тимофеева-Ресовского, после заседания рассказывал, что услышав это растянутое ВэЦэСэПэСэ, он подумал, что если докладчик произнесет далее аббревиатуру ЦК КПСС в такой же манере, то жди нагоняя. Но обошлось. Тимофеев-Ресовский, выступая на грани фола, видимо, и сам знал границы своего вольнодумства.

За несколько месяцев до этого выступления праздновался 70-летний юбилей Тимофеева-Ресовского. Неожиданно из издательства «Наука» сообщили, что «сверху» поступило указание больше это имя в печати не упоминать и ссылки на его статьи не пропускать. Завадский выругался: «Черт знает что такое, его что, расстреляли?», так как знал, что в сталинские времена подобные распоряжения поступали относительно лиц, удостоенных высшей меры «пролетарской защиты». Как впоследствии удалось выяснить при помощи тогдашнего академика-секретаря Отделения общей биологии Б. Е. Быховского, Отделу науки ЦК КПСС не понравилось, что в связи с юбилеем Тимофеева-Ресовского в «Бюллетене Московского общества испытателей природы» должна была появиться статья, где его изображали «чуть ли ни героем антифашистского сопротивления». Было «рекомендовано» этого не делать. При передаче же негласного указания по бюрократической цепочке, как это чаще всего и случается, произошло искажение в сторону глупости. Требовалось

немало сил и времени, чтобы подобные нелепые указания не претворяли в жизнь.

Впоследствии я старался посещать каждое выступление Тимофеева-Ресовского в Ленинграде, которые он сам называл теоретическим трепом. Хотя первое впечатление о встрече с глыбой не изглаживалось, все чаще оставалось ощущение какого-то балагурства: «любители-садоводы – это садисты, которые ради урожая издеваются над природой», «любители математической биологии – модельеры, так как строят разные модели», «о происхождении жизни спросите у А. И. Опарина и Р. Л. Берг, они помнят, а я тогда был маленький». К такому стилю мы были не приучены, так как в нашей среде культивировалось сакральное отношение к науке. Как-то у меня в гостях была подруга детства мамы, заведующая сектором в Институте космической медицины, где последние годы жизни был профессором-консультантом Тимофеев-Ресовский. Увидев у меня на столе раскрытую книгу Тимофеева-Ресовского, она удивленно спросила, как я могу читать его труды. Услышав мой ответ, что Тимофеев-Ресовский причастен к возникновению нескольких отраслей современной биологии и многими считается достойным Нобелевской премии, она не поверила, полагая, что их директор академик О. Г. Газенко держал Тимофеева-Ресовского лишь из жалости.

После смерти Завадского мне было поручено координировать работу по подготовке книги «Развитие эволюционной теории в СССР», где предполагалось дать и очерк об эволюционной теории в Германии, Англии, США. Предварительный проспект главы о Германии, которую должна была писать Т. А. Лукина, был послан Тимофееву-Ресовскому. Его мнение я хотел выяснить при личной встрече, после его доклада в ГИДУВ. К моему удивлению, он довольно агрессивно сказал, что ни о ком из них писать не стоит, так как большинство из них были членами НСДАП, СА и СС. Особенно было странно получить упрек за то, что по моей инициативе в третьем выпуске «Истории и теории эволюционного учения» (1975) был помещен перевод некролога Г. Геберера, который, по мнению «Зубра», не заслуживал этой чести, так как был активным нацистом и членом СС. Тимофеев-Ресовский сказал буквально следующее: «Да, да, мне вот ваша Татьяна Аркадьевна Лукина прислала текст... ну что вы, она о таких фашистах, как Г. Геберер, собирается писать! Это вообще безобразие! А вы еще и напечатали о нем некролог, он же был член СС!» Пришлось ответить, что мы отдали дань уважения не нацисту, а составителю и редактору одной из наиболее полных сводок по синтетической теории эволюции «Эволюция организмов», выпущенной в 1943 г. в гитлеровской Германии, где одной из центральных была глава, написанная Тимофеевым-Ресовским в соавторстве с членом СС Г. Бауэром. Николаю Владимировичу мой ответ явно не понравился, и больше мы с ним не встречались.

Такое же впечатление от столкновения с чем-то очень крупным и мощным, но устаревшим осталось у меня от единственной встречи с А. А. Любищевым в мае 1972 г. На нее меня потащил Саша Кафанов, сказав: вот ты сидишь, читаешь книги по дарвинизму, а в городе гастролирует Любищев, и никто ничего ему возразить не может. Доклад был в аудитории химического факультета ЛГУ, битком заполненной. Несмотря на свои 82 года и костыль, Александр Александрович выглядел очень эффектно. Он громкогласно, с юмором, скорее,

эпатируя публику, чем всерьез, заявлял: «Я единственный в СССР идеалист, официально зарегистрированный. Смотрите внимательно. Страшен?» – и зарычал. Или с пафосом вопрошал аудиторию: «Кто находится на вершине прогресса, кто победил в борьбе за существование? Млекопитающие? А много ли их видели? Ну, мышка где-то пробежала, зайка выскочил из-за угла. А вот я однажды ехал по степи на телеге, и только на проселочной дороге мне попалось за несколько часов 84 лягушки. Вот они, цари природы! Вот они, победители борьбы за существование!»

Ему невнятно оппонировала Р. Л. Берг, произнося банальные учебные истины, не устраивающие многих в аудитории, жаждущих свободы и оригинальности. От нее он отмахнулся очередной хохмой: «В отличие от вас, дарвинистов, я сторонник самой широкой полифилии. Мужчина – это грязное, глупое, уродливое существо – произошел, конечно, от обезьяны. А женщины с их красотой, изяществом, вкусом и прекрасным голосом могли произойти только от птичек». Мой аргумент, что при всех недостатках дарвинизм пытается найти причины эволюции и тем самым открывает возможность для критики и проверки гипотез, в то время как сам Любищев не назвал ни причин, ни законов эволюции, к поиску которых призывает 50 лет, он парировал притчей. «В городе Ульяновске произошло убийство. Народ был возмущен, требовал поскорее найти и наказать убийцу. Тогда милиция схватила первого попавшегося и объявила его убийцей, невиновного осудили и расстреляли. Вот так и вы, дарвинисты, хватаете естественный отбор и объявляете его творческим фактором эволюции, а он к ней не имеет никакого отношения», – завершил патриарх отечественного антидарвинизма нашу полемику.

Я понимал, что он ерничает, но не знал, понятно ли это окружающим, которые, конечно же, не читали труды Любищева 1920-х гг., где он доказывал преимущество своего филогенетического преформизма, как последовательно революционного, строго закономерного и диалектического, над плоским дарвинизмом. Семинар длился около четырех часов, и в 11 часов вечера кто-то сказал Любищеву: «Надо кончать, Александр Александрович. Вы, наверно, устали?» Опираясь на костыль, он ответил: «Я-то нет, но вот они устали», – и указал на аудиторию, где преобладала молодежь. И тут он, видимо, был искренен, так как дух прирожденного полемиста придавал ему огромные силы.

Через несколько дней на эволюционном семинаре я выступил и сказал: здесь собрались единомышленники и доклады мы слушаем и обсуждаем в рамках исповедуемой нами парадигмы, а вот в городе в разных аудиториях выступает Любищев, пропагандирует свои идеи 50-летней давности, и никто не может вызвать его на серьезную дискуссию. Мой наивный призыв к дискуссии с Любищевым поддержал Завадский. В Зоологический институт, где Любищев каждый день сидел и читал книжки с пожелтевшими страницами, был отряжен гонец с предложением выступить с изложением эволюционных взглядов на семинаре Завадского. Любищев уже был кем-то предупрежден об этом приглашении и встретил гонца словами: «Мне говорили, что на семинаре выступил какой-то юноша и предложил пустить кровушку пресловутому Любищеву». Доклад о своих эволюционных взглядах на семинаре у Завадского он отказался делать, но предложил вместо этого доклад о вреде

математики в биологии, почему-то считая, что Завадский терпеть не может математизацию биологии. Но этот доклад был не интересен Кириллу Михайловичу, и дискуссия не состоялась. Предполагаю, что для Александра Александровича была небезразлична реакция аудитории на его доклады, и каждый раз он предпочитал перед математиками выступать с критикой эволюционной теории, а перед эволюционистами с критикой математики. В том же году Любичева не стало.

К моему удивлению, его популярность стала сильно расти после смерти. Вокруг его трудов началось подлинное волхование, курение фимиама и преклонение. После повести Д. Гранина «Эта странная жизнь» (1974) Любичев получил всеобщую известность и даже был причислен к самым выдающимся ученым всех времен и народов. Ему были посвящены тысячи книг и статей, сотни конференций, без конца издавались его рукописи, большая часть которых, на мой взгляд, представляет собой дилетантские конспекты, как, например, книги по истории философии. Самое странное, что никто так и не смог сказать, что же сделал в науке Любичев, но зато все знали с его слов, как надо науку делать. На Западе, конечно, это фигура совершенно неизвестная, и на развитие мировой науки он никакого влияния не оказал, да и оказать не мог. Там остаются не те, кто учит, как плавать, а те, кто сам умеет плавать лучше других.

Однажды крупный энтомолог из Зоологического института А. Г. Кирейчук сказал мне, что он понимает: Любичев был великий эволюционист, но энтомолог никудышный, не мог правильно определить простые виды. На что я в шутку ему ответил, что, напротив, думал, что Любичев крупный энтомолог, а эволюционист никудышный. Его единственная статья по эволюционной теории 1925 года ни в какое сравнение не идет с номогенезом Л. С. Берга (1922) и исторической биогенетикой Д. Н. Соболева (1924); вот эти ученые на самом деле предложили оригинальные и детально разработанные недарвиновские концепции, которые можно принимать или отвергать, но в которых, по крайней мере, есть что обсуждать. Мне кажется, на апологетов Любичева особое впечатление производили не сами его идеи, которые по сути дела не очень сильно отличались от постулатов Лысенко, но преподносились в более утонченной и наукообразной форме, сколько их отличие от официально признанной в те годы синтетической теории эволюции. Любичев был сторонником принципа наследования признаков, допускал скачкообразное возникновение видов, настаивал на жесткой детерминации эволюции. При этом он был непримиримым противником Лысенко как губителя отечественной биологии.

Впоследствии у меня не раз пересекались пути с приверженцами Любичева, некоторые из них даже стали моими друзьями. Как «черный оппонент» издательства «Наука» я способствовал выходу в свет его трудов по морфологии и систематике в начале 1980-х гг. Глубоко уважая Любичева за стойкость в отстаивании взглядов в условиях тоталитарного режима, преклоняясь перед масштабностью и интеллектуальной мощью его полемического таланта, я так и не смог увидеть какие-либо его заслуги перед эволюционной теорией. В его научной деятельности наиболее ценным является борьба за чистоту науки в годы лысенкоизма, и в этом отношении он должен всегда оставаться нравственным ориентиром для российского сообщества.

Среди последователей Любищева встречались блестящие, яркие личности и крупные ученые. Особо выделялся Сергей Викторович Мейен, энциклопедически образованный специалист по ископаемой флоре. Наше знакомство началось с неприятного инцидента – в начале 1974 г. Завадскому из «Журнала общей биологии» прислали на рецензию статью Мейена, которую Кирилл Михайлович передал мне для подготовки отзыва, и он в целом получился отрицательный. Редакция переслала отзыв автору. Тот не только подготовил резкие возражения, но и придал им широкую огласку, только потом узнав, что статья была на рецензии у Завадского. К нему Сергей Викторович относился с уважением и прислал свой антиотзыв с извинениями, что если бы раньше знал имя рецензента, был бы сдержаннее. Я в те годы руководил методологическим семинаром в Зоологическом институте, и мое предложение организовать обсуждение доклада Мейена было встречено с энтузиазмом.

К моему удивлению, Мейен был настроен примирительно, ратовал за номотетический подход к эволюции, где дарвиновские представления о движущих силах эволюции были бы синтезированы с концепцией морфологических законов, канализирующих ход филогенеза. При этом он обходил вопрос об адаптивном характере эволюции. Разгорелась жаркая дискуссия, где с резкой критикой содержательной части доклада выступали в основном биологи, а физики и математики сконцентрировались на постулате закономерного, предсказуемого хода эволюции, усматривая в нем попытку физикализации эволюционной теории. Немало было и тех, кому была безразлична суть спора, для них в докладе главным была критика Мейеном официально признанной доктрины, что для многих было признаком новизны и оригинальности. В целом все остались при своем мнении, продемонстрировав очередной раз, что в спорах истина не рождается.

На следующий год в Ленинграде состоялся XII Международный ботанический конгресс, где я был членом гостиничной комиссии. Мейен приехал раньше, когда еще особой запарки не было, вел себя исключительно радушно, обращаясь со мной как с коллегой и даже другом и единомышленником. В какой-то степени так и было. Попытки реванша со стороны лысенкоистов не прекращались, в тот момент мы добивались снятия грифа «учебное пособие» с книги А. Е. Фурмана «Диалектическая концепция развития в современной биологии», написанной с лысенкоистских позиций. Мейен также был обеспокоен ходом событий и предлагал свою помощь. Вскоре мы встретились с ним в Тарту на конференции, посвященной Бэру, и провели несколько вечеров втроем (третий был Галл), ожесточенно, но очень доброжелательно дискутируя по ключевым вопросам теории эволюции. И хотя позиции наши не сблизились, появилось глубокое чувство близости и взаимопонимания, и я с удовольствием прочитал в журнале «Знание – сила» изложение знаменитого «принципа сочувствия» Мейена, в котором он, не называя наших с Галлом фамилий, пишет о вечерних беседах с двумя своими молодыми друзьями из Ленинграда.

После этого состоялось еще немало встреч, на которых мы продолжали спорить друг с другом, оставаясь при этом друзьями, пока однажды Сергей Викторович не предложил прекратить публичные дискуссии, так как взгляды наши они изменить не могут, а вот окружающим дают аргументы для кри-

тики. Мы с Галлом несколько удивились, так как Мейен был блестящий и остроумный полемист и имел большой успех в любой аудитории, но согласились и слову были верны. Однажды мне за это попало от Завадского. Он на заседании сектора публично упрекнул меня за отсутствие реакции на критику синтетической теории эволюции со стороны Мейена на совещании по философским вопросам биологии и успокоился только после того, как я в сердцах предложил вернуть командировочные расходы.

Стенка на стенку сторонники синтетической теории эволюции и ее противники сошлись на конференции в Тарту в сентябре 1984 г. Прекрасная погода, гостеприимство хозяев, замечательная организация конференции способствовала тому, что в Тарту съехались практически все интересующиеся проблемами эволюции. Дискуссии были очень жесточеными, однако после них мы продолжали со своим оппонентами миролюбиво общаться, что кому-то представлялось неким нонсенсом, в частности, моим ученикам, которые знали, что мы с Мейеном придерживались противоположных точек зрения по ключевым вопросам эволюции. Один из них, А. В. Говорунов, не удержался и даже спросил нас с Мейеном, почему мы можем так дружески общаться, будучи непримиримыми оппонентами. Я несколько опешил, а Сергей Викторович ответил, что он ради дружбы с Галлом и Колчинским готов пожертвовать любыми своими научными убеждениями. Конечно, Мейен лукавил. В своих воззрениях он был непреклонен и взгляды свои ни за что не менял. Для меня же стало уроком, что к науке, как, впрочем, об этом говорил еще Тимофеев-Ресовский, нельзя относиться со звериной серьезностью. Во всяком случае, нельзя, чтобы научные разногласия сказывались на личных отношениях.

Правда, там же, в Тарту, произошел инцидент, произведший на меня неприятное впечатление. Мои ученики сообщили мне, что, обсуждая только что вышедшую книгу «Развитие эволюционной теории в СССР», где я был редактором-составителем, Мейен сказал, что эту книгу писали «какоеды». Я не поверил своим ушам и при встрече его переспросил, так ли это, что это означает, насколько допустимы такие аргументы в науке и как это согласуется с пропагандируемым им «принципом сочувствия». Ему стало крайне неудобно, но от слов своих он не отказался. Возможно, бесплодные многолетние попытки убедить научное сообщество в своей правоте сделали Сергея Викторовича желчным, и когда стало не хватать аргументов, был пущен в ход юмор детского сада. А может, он уже знал, что обречен, и терял контроль над собой. Через полтора года его не стало. Провожать его пришли тысячи людей.

Много лет спустя жизнь свела меня с другим последователем Любищева и исследователем его научного наследия – Михаилом Давидовичем Голубовским, блестящим экспериментатором и теоретиком генетики, которому я помог напечатать его знаменитую книгу по истории генетики.

Довольно случайно в нашем кругу на несколько месяцев появился историк Лев Николаевич Гумилев, тогда еще известный только в узких кругах гуманитарной интеллигенции. Встреча состоялась в мае 1973 г. Осенью я должен был защищать кандидатскую диссертацию, и Завадский посчитал, что мне будет полезно выступить на ежегодном совещании Проблемного совета по диалектике в Петергофе. Конечно, попасть в число выступающих на таком совещании аспиранту было нелегко, но организаторы совещания просили За-

вадского сделать доклад на пленарном заседании, и он ради меня согласился. На станции Старый Петергоф, на автобусной остановке, к нам с Наташей Константиновой – моей будущей женой, поехавшей поболеть за меня, – подошел седоватый, грузный пожилой мужчина и, узнав, что мы едем на одно с ним мероприятие, представился Гумилевым и добавил, что его имя-отчество запомнить легко – Лев Николаевич, как у Толстого. Помню, мы с Наташей иронически переглянулись при таком пояснении.

Вскоре он сообщил, что родители его – Николай Гумилев и Анна Ахматова и что он провел 20 лет в заключении – «10 лет за папочку и 10 лет за мамочку». Честно сказать, о «папочке», т. е. о великом поэте Николае Гумилеве, я помнил что-то смутное. Постановление ЦК КПСС 1946 г. о литературе и программные речи А. А. Жданова о творчестве Анны Ахматовой изучали еще в седьмом классе. Ее опубликованные стихи читал в юности, подпольные стихи узнал позже. Хотя я не был поклонником творчества Ахматовой, преклонялся перед ее мужеством, считал невинно пострадавшей, помнил общественный резонанс от ее похорон в 1966 г. и торжественной панихиды в Никольском соборе, где собрались огромные массы народа и духовенства. Вероятно, это был первый после долгого времени открытый протест Ленинграда и предупреждение властям, травившим великого поэта. Известно было также, что Ахматова старалась спасти Иосифа Бродского, стихи которого были популярны в студенческой среде, а коронным номером под гитару у моего друга Гены Хона были его «Пилигримы». Правда, само упоминание знаменитых родителей в начале знакомства меня несколько покорило, но поскольку книгу Л. Н. Гумилева «В поисках потерянного царства», кстати, по моему мнению, лучшую в его научном творчестве, я знал, беседу продолжил.

По какой-то причине мы не расставались с Гумилевым весь день; возможно, он также чувствовал себя не в своей тарелке среди философов, а может, у него была потребность в общении с молодежью, тем более с симпатичной девушкой. Допускаю, что его заинтересовала возможность через меня познакомиться с Завадским, который, как он надеялся, мог бы помочь ему в защите докторской диссертации. С самого начала вспыхнула дискуссия по поводу мутаций, ведущих к пассионарности. Он признавал, что с этим пунктом не согласен ни один генетик, но тем не менее именно идея некой мутации, ведущей к росту активности индивида и вслед за ним – огромной массы людей, была ключевой в развиваемой им концепции этногенеза. Генетику того времени я немного знал, а как философ не сомневался в том, что гипотеза, выстраиваемая на подобном основании, является спекуляцией чистой воды. Тем не менее расстались мы с Львом Николаевичем очень дружески и периодически перезванивались.

С осени он стал участвовать в работе наших семинаров, часть из которых проходила на квартире Завадского. Гумилев не раз говорил, что поражен обстановкой свободы и равенства, царящей на них. Тогда было модно говорить об экологическом кризисе, что меня страшно возмущало, так как мне было ясно, что нигде не сохранилось первозданной природы, потому что это невозможно никогда – с момента расселения человечества по всей планете и формирования ойкумены, а представления о нарастающем кризисе можно найти в любом мифе и сказке о потерянном рае и золотом веке. Преувеличенными

казались и стенания об экологической ситуации в России. Лев Николаевич, наблюдавший ее в местах не столь отдаленных, со мной согласился, но добавил, что необходимо учесть, что в СССР индустриализация в значительной степени проведена на бумаге для галочки, а вот в развитых странах обстановка действительно угрожающая.

Я познакомил Завадского с Гумилевым. Они были людьми одного круга – дети интеллигенции дореволюционного Санкт-Петербургского общества, близки по возрасту, говорили на одном языке. Оба остались довольны знакомством. Ничто не предвещало возможного конфликта. Гумилев подарил Завадскому свои работы с трогательными надписями и спросил, не может ли тот быть оппонентом на защите его второй докторской диссертации по исторической географии. Завадский по собственному признанию обещал дать ответ после прочтения рукописи диссертации, которую ему вскоре и передали через меня. Диссертация была в кожаном переплете коричневого цвета. Спустя несколько недель Лев Николаевич, не дождавшись мнения Завадского о его работе, принес отпечатанный автореферат диссертации, где третьим оппонентом значился Завадский. Последний вспылил: «Без меня меня женили», – и отказался оппонировать, так как не мог как биолог судить о движущих силах этногенеза. Гумилев потребовал вернуть рукопись диссертации, а заодно и все подаренные им книги и статьи. Возвращать пришлось мне, и на этот раз Лев Николаевич был не столь любезен, но я не стал вступать в дискуссию, поскольку был твердо уверен, что никаких биологических фактов в пользу своей концепции пассионарности Гумилев не привел, а сама работа при беглом прочтении, скорее, представляла собой захватывающее художественное произведение, а не научный труд. Так я считаю и по сей день.

После этого взаимные звонки прекратились, наши пути изредка пересекались на ряде конференций. Оба мы ограничивались обменом приветствиями и короткими беседами. Для меня были совершенно неприемлемы его спекуляции о каких-то космических факторах эволюции уже не только человечества, а всей биосферы в целом. Диссертацию он защитил, но ВАК ее не утвердил, признав антимарксистской. Тем не менее популярность его росла, вокруг сложился круг учеников и последователей. В разгар перестройки я встретил его на организационной конференции Санкт-Петербургского союза ученых и по поручению одного из первых частных издательств предложил напечатать его книгу, застрявшую на несколько лет в издательстве «Наука». Он согласился, вспомнив и меня, и Завадского, но «Наука» отказалась вернуть отредактированную рукопись, и план не удался. Скоро у Гумилева отпала всякая необходимость в какой-то помощи – он стал оглушающе знаменит. Все его книги выходили по многу раз огромными тиражами. Его теории признали те гуманитарии-марксисты, которые раньше всячески их громили. Но, прочитав несколько его новых книг, я не изменил своего прежнего мнения, что это произведения очень талантливого художника, но не ученого. Видно, от родителей по наследству он получил не только трагическую судьбу, репрессии, но и богатое воображение и образное мышление, которое не всегда совместимо с рациональным мышлением, без которого науки в принципе не может быть. Недавно я прочитал в Интернете статью одного из самых ярких молодых российских историков Аскольда Иванчика, в которой концепция Гумиле-

ва охарактеризована как псевдонаучная, и порадовался тому, что, оказывается, в России еще остались профессионалы и в области историософии. Вернее, таких людей много, но немногие готовы идти против распоясавшегося дилетантизма. Примером тому служит и кампания вокруг новой хронологии академика А. Т. Фоменко, которая почище фильтров В. И. Петрика.

Запомнились мне и доклады об эволюции экосистем геоботаника Виктора Викторовича Мазинга, а также биоценолога и этномолога Павла Михайловича Рафеса. Где-то за два часа до начала семинара Завадский начал волноваться, приехал ли докладчик Мазинг. Я его заверил, что профессор Тартуского университета наверняка приехал и будет выступать, в противном случае он обязательно бы сообщил. Мазинг пришел за 15 минут, как раз столько времени потребовалось, чтобы развесить таблицы. Доклад, на мой взгляд, был великолепный, сделанный по лучшим западным стандартам: с четкой постановкой проблемы, обсуждением методики, приведением фактического материала и выводов. Аналогичным было и выступление Рафеса. Для философствующей части слушателей такая манера была необычна. К тому же тема была совершенно новая, проблема практически неразработанная, и аудиторию, как говорится, понесло. Каждый выступавший считал своим долгом сообщить, как, по его мнению, следует решать заявленную проблему и чего не хватает в докладе. Вежливо выслушав всех критиков, Павел Михайлович ответил очень эмоционально и просто, что дискуссия напомнила ему обсуждение некоего фильма о любви, когда создателей критиковали за отсутствие борьбы за повышение надоев молока, а те отвечали, к неудовольствию чиновников, что про надой молока будет «в другом кино». И всем, любящим рассуждать на темы, в которых они ничего не понимают, стало неудобно. В общем, как говорил классик К. Прутков: «Не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?» Впоследствии я всегда старался уклониться от обсуждения проблем, о которых имел смутное представление. Позже мне много раз приходилось парировать упреки, почему я, историк науки, отказываюсь засвидетельствовать приоритет российской науки в оптико-волоконной связи, полете на Луну, торсионных полях и т. п.

Успех книг по истории биологии, издававшихся сотрудниками нашего сектора, в огромной степени был обусловлен прекрасной работой внештатного редактора издательства «Наука» Фонеды Иудовны Кричевской. Ее по праву можно назвать соавтором большинства из них. Ученица выдающегося протозоолога и эволюциониста, члена-корреспондента АН СССР В. А. Догеля, Кричевская посвятила свою жизнь подготовке и изданию учебной литературы. В военные и послевоенные годы она была директором и главным редактором Ленинградского отделения Учпедгиза. В 1951 г. ее арестовали и осудили по пресловутой 58-1 статье на 25 лет за «вредительство»: якобы она пыталась задержать издание предвыборного доклада И. В. Сталина на эвенкийском языке. После смерти Сталина статья о вредительстве была заменена на обвинение в служебной халатности, и ее освободили. Но только в середине 1960-х гг. она вернулась к редакторской деятельности.

Кричевская была редактором от Бога, интуитивно угадывала всякую халтуру или ошибку, тщательно шлифовала формулировки, облакая в стилисти-

чески безупречную форму порою неуклюжие построения автора, добивалась совершенства структуры и композиции книг. Обладая прекрасным чувством юмора, она свои замечания и предложения делала так, что самые амбициозные авторы охотно к ним прислушивались. Слегка иронично настроенная к попавшим к ней сочинениям, она не робела перед авторитетами и титулами и с одинаковой требовательностью редактировала работы академиков и аспирантов. Пиршеством ума для авторов становились и беседы с Фонедой Иудович о политике, литературе, живописи, музыке. Годы мучений не ожесточили ее. Если она доверяла человеку, то охотно делилась своими воспоминаниями, была остра в суждениях на политические темы, внимательно следила за новинками литературы и театра. От нее я узнал много интересного о характере многих крупных биологов, печатавшихся в ее издательстве.

Наряду с биологами-эволюционистами в круг общения входили и историки биологии. Среди них особенно выделялся историк физиологии Василий Лаврентьевич Меркурьев, друг Завадского со студенческих лет. Его выступления были остры, резки, чуточку агрессивны, но очень интересны. Однажды он рассказывал о деятельности Общества биологов-марксистов в Ленинграде в начале 1930-х гг., которое возглавлял И. И. Презент. Хотя сам Меркурьев, возможно, не без участия Презента, был репрессирован, последний в его воспоминаниях выглядел блестящим оратором, человеком редкого мужества, привлекавшим к себе многих крупных ученых и начинающих исследователей. Этот рассказ запомнился мне надолго, показав еще раз, сколь неоднозначен человек. Впоследствии я убедился в правоте Меркурьева и посвятил Презенту как «герою своего времени» специальную статью, опубликованную в Берлине. Скажу честно, в России я не стал печатать эту статью, понимая, сколь болезненна может быть воспринята сама постановка проблемы.

Среди московских историков науки ближе всех к молодежи сектора был Вадим Иванович Назаров, автор замечательной книги о французских эволюционистах. Он часто приезжал к нам со своими докладами, а также за консультациями к Завадскому, которого очень уважал. У него был прекрасный стиль изложения, безукоризненно подобранный материал. Тогда Назаров был ортодоксальным дарвинистом, приверженцем градуализма, и ничто не предвещало того, что в будущем он станет создателем новейшей теории «эволюции не по Дарвину». Напротив, он не мог понять моей любви к неокатастрофистам Д. Н. Соболеву и О. Шиндевольфу, которые уже тогда стали моими героями. Часто на консультации к Завадскому приезжала Лариса Васильевна Чеснова, очень энергичная и доброжелательная женщина. Она успешно занималась историей энтомологии, написала ряд книг, пользующихся успехом уже несколько десятилетий. С тех пор мы с ней тесно сотрудничаем, и ее критические замечания всегда важны для меня. Нередко в Ленинграде бывала Нора Андреевна Григорян – большой знаток научного творчества И. П. Павлова, Л. А. Орбели, И. М. Сеченова и других выдающихся отечественных физиологов. В 1973 г. мы проводили большой симпозиум «Первые шаги эволюционной теории в СССР», в котором участвовало большинство сотрудников сектора истории биологии ИИЕТ АН СССР во главе с Леонидом Яковлевичем Бляхером. Он уже был пожилым и готовился передать сектор Эдуарду Нико-

лаевичу Мирзояну, которого я тогда впервые увидел. С ним мы тесно сотрудничали уже после смерти Завадского.

К Завадскому тянулись многие философы, занимавшиеся проблемами биологии. Среди них был красавец-мужчина Иван Тимофеевич Фролов, книгой которого «Генетика и диалектика» мы зачитывались еще на студенческой скамье. Фролов возглавлял журнал «Вопросы философии», превратившийся благодаря его руководству в популярное издание, в котором с удовольствием печатались крупные естествоиспытатели. Его помощниками в журнале были Игорь Константинович Лисеев, а затем Борис Григорьевич Юдин, занимавшиеся философскими проблемами биологии. Впоследствии Лисеев перешел в Институт философии, а Юдин – в ИИЕТ. Оба они способствовали тому, что публикуемые в журнале статьи были интересны, актуальны, а порой и остры, что вызывало злобу со стороны ортодоксальных приверженцев тогдашнего главного российского идеолога М. А. Сулова. Это заставляло Фролова быть осторожным, продумывать каждый шаг. Например, по результатам обсуждения уже упоминавшейся книги Фурмана мы с М. Т. Ермоленко по просьбе Фролова подготовили для журнала статью, которая долгое время не выходила, хотя прошла ее корректура. Завадский был встревожен, сам писал Фролову и просил других биологов поддержать его. Фролов обещал, но рукопись и не публиковал, и не возвращал. Через некоторое время я встретился с сотрудником редакции «Вопросы философии» и попросил объяснить ситуацию. Он искренне ответил, что Фролов вынужден выжидать, как повернется дело. Если наверху спросят, почему критически не отреагировали на книгу, написанную с позиций лысенкоизма, он ответит, что у них есть уже готовый материал, который выйдет в ближайшем номере, а если не спросят, то лучшешний раз не высовываться. Судя по всему, не спросили.

В конечном счете Фролова сняли и отправили в Прагу, в журнал «Проблемы мира и социализма», который он также быстро сделал читабельным. Этому якобы предшествовала длинная интрига, суть которой я слышал от московских философов. Секретарь ЦК КПСС П. Н. Демичев, считавшийся противником Сулова, покровительствовал Фролову и пытался поставить его во главе Института философии АН СССР. Но на пленуме Московского горкома партии секретарь по идеологии Ягодкин выступил с критикой журнала «Вопросы философии», обвиняя его редактора в протаскивании ревизионизма, антимарксизма и позитивизма. Обвинения нешуточные по тем временам, и при рассмотрении кандидатуры Фролова в секретариате ЦК КПСС Демичев выступил с требованием осудить выступления Ягодкина. Оправдываясь, тот заявил, что так выступить поручил ему Сулов. Но Сулов это отрицал и сказал, что он согласился только с тем, что Фролову нужно указать на ошибки, если они есть, но отнюдь не рекомендовал подобный стиль критики. За решением вопроса пошли к Л. И. Брежневу, но тот ответил подобно дельфийскому оракулу: «Не важно, какой Фролов человек, самое важное, какой он коммунист». И вопрос остался нерешенным, так как никто не понял, каким коммунистом Брежнев считает Фролова.

В Москву Фролов вернулся в начале 1980-х гг. и стал активно пробовать идею создания Института человека в АН СССР. Предполагалось, что он будет одним из оппонентов на защите моей докторской диссертации, но здесь

началась его головокружительная карьера при М. С. Горбачеве. Он стал членом ЦК КПСС, которым запрещалось быть оппонентами, затем главным редактором «Правды» и членом Политбюро. В 1987 г. он организовал прекрасный Международный конгресс по логике и методологии науки, на который съехались философы и теоретики естествознания из разных стран. Умер он во время командировки в Китай. Бесспорно, он был одним из наиболее ярких, самобытных и творчески одаренных философов-марксистов, пользовавшимся заслуженным уважением со стороны естествоиспытателей. Он внес свой немалый вклад в защиту генетики в СССР, в разработку проблем биоэтики. Талантливыми философами были его ученики и соавторы С. А. Пастушный и И. Н. Смирнов.

На горизонте философских проблем биологии очень яркой фигурой являлась Регина Семеновна Карпинская, защитившая в 1973 г. докторскую диссертацию и создавшая в Институте философии АН СССР сектор методологии биологического познания. Ее бывший муж Лен Карпинский в молодости был секретарем ЦК ВЛКСМ и редактором «Правды». Как не пожелавший принять ресталинизацию, он был исключен из партии и стал широко известным диссидентом. Регина Семеновна также была человеком весьма неортодоксальных взглядов, все время стремилась внести что-то новое в исследуемую область, инициировала бесконечные проекты, конференции, симпозиумы, круглые столы. Выпускница философского факультета, она затем закончила и биолого-почвенный факультет МГУ, общалась и сотрудничала с А. Н. Белозерским, В. А. Энгельгардтом, А. А. Баевым, А. С. Спириным, Г. Ф. Гаузе, опубликовала первые в СССР труды по философскому осмыслению молекулярной биологии.

Она была энергичной, активной, немножко вспыльчивой, иногда немножко агрессивной, но при этом очень доброжелательной женщиной. Дружеское общение с коллегами, желание помочь молодежи были доминирующими чертами ее характера. Карпинская всегда привлекала ленинградцев к проводимым ею мероприятиям, отводя им почетные места в программе конференций и приглашая в готовящиеся ею коллективные монографии. Одним из ее ближайших помощников по сектору был И. К. Лисеев, на редкость дружелюбный человек, успешно разрабатывающий культурологические аспекты биологии. Некоторое время он учился у Завадского, что также способствовало единению московских и ленинградских философов биологии.

Для Карпинской были характерны страстность, порядочность и научная честность, целеустремленность в служении науке, удивительным образом сочетавшиеся с непосредственностью и непредсказуемостью в отдельных ситуациях. Все это создавало вокруг Регины Семеновны особое энергетическое поле, где бы она ни появлялась. Везде она прерывала скучный поток любого научного мероприятия, доказывая, что творческое начало и неординарность личности являются необходимыми условиями любой научной деятельности. Карпинская всю себя отдавала решению избранных ею вопросов, будь то философское осмысление теории естественного отбора, геносистематики или синтез естественно-научного и социогуманитарного знания. Своей увлеченностью неопита она формировала вокруг себя некое поле духовного притяжения, векторы которого обеспечивали создание незримого и зримого колледжа

единомышленников. Благодаря этому ей удавалось неофициально координировать деятельность исследователей в разных городах и республиках, быть главным лицом не только в Москве, но и в мероприятиях за ее пределами. Всюду она вносила дух московской богемы с тусовками, встречами, посиделками на кухне, великосветскими сплетнями. Регина Семеновна поддерживала все инициативы, связанные с попытками оказать давление на власть, отстаивать молекулярную биологию, сбить волну рвущихся к реваншу лысенкоистов. Она ушла из жизни очень рано, в результате тяжелой болезни, но ее творческий потенциал был далеко не исчерпан.

Похожей на нее была и Надежда Павловна Депенчук в Киеве, но наше сотрудничество началось позднее. И хотя в 1970-е гг. у нас в стране было немало по-настоящему творческих и интересных исследователей в области философских проблем биологии, инициативным, активным движущим началом в этой области были Карпинская и Депенчук. И для меня философия биологии в СССР всегда имела женское лицо. Здесь феминизация в хорошем смысле слова наступила раньше, чем в других отраслях философии.